

ГЕННАДИЙ КАЗАНЦЕВ

ЧТО ЗЕМЛЯ ВЗЯЛА

АЛТАЙ, 225 ГОД ДО НАШЕЙ ЭРЫ

КНИГА ПЕРВАЯ

Геннадий Казанцев

Что земля взяла

<https://litres.ru/74379928>

SelfPub; 2026

Аннотация

Геолога забросило из 2003 года в Горный Алтай третьего века до нашей эры — к тем самым людям, чьи курганы он накануне разглядывал с террасы. У него нож, молоток и промывочный лоток. И знание, что через пятнадцать лет этого мира не станет.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НИЖНЯЯ ВОДА Глава 1.	4
Двадцать седьмое сентября	
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Геннадий Казанцев

Что земля взяла

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НИЖНЯЯ ВОДА Глава 1. Двадцать седьмое сентября

Вода была такая холодная, что руки переставали быть руками.

Егор держал лоток на весу, в струе, и качал — не кистями, кистями качают те, кто моет второй сезон, — качал всем корпусом, от поясницы, коротко и ровно, и серая муть уходила через борт длинным языком. Ручей тащил её вниз и растворял. Пальцы он не чувствовал с половины третьего.

В лотке оставалось всё меньше. Он сбросил гальку, догнал воду, качнул ещё, ещё, и на чёрной дорожке шлиха — того тяжёлого, что не унесло водой, — проступила знакомая ржавая рыжина — гранаты, магнетит, обычная улаганская дрянь. Ничего.

Он посмотрел ещё раз, наклонив лоток к свету. Свет уже был низкий, жёлтый, лежал вдоль долины плашмя, и в нём всё выглядело богаче, чем есть. Он это знал и делал поправку.

Ничего.

— Пусто, Гурьяныч, — сказал он не оборачиваясь.

— И слава богу, — отозвался Гурьяныч с террасы. — Было бы что — сидели бы тут до снега.

Гурьянычу было шестьдесят один, он возил партии с семьдесят четвёртого года и полагал, что любая находка — это лишняя работа. В чём-то он был прав.

Егор вылез из ручья, сел на камень и стал стаскивать сапоги. Носки были мокрые насквозь, хотя сапоги не текли. Так всегда: вода приходит сверху, по рукавам, по спине, неизвестно как, и к вечеру ты мокрый весь, а сапоги при этом целые.

Он вытряс носок, выжал, натянул обратно. Смысла в этом не было никакого, но так делают.

Стоял конец сентября. Лиственницы наверху уже взялись, но не совсем — рыжина шла пятнами, языками по склону, там, где солнце. Ниже, вдоль воды, оставалась зелень. Через неделю всё станет одного цвета, а ещё через две с этого места надо будет уезжать.

Пятнадцатый маршрут. Восемь точек опробования, четыре забракованы по мутности воды, шлихи в мешочках, мешочки в рюкзаке, номера в пикетажке. Двадцать третий полевой сезон Егора Дмитриевича Шадрина, из них четырнадцатый на Алтае.

Он достал пикетажку — полевой дневник в клеёнчатой обложке, засаленный по углам, — полюбил карандаш и за-

писал: *т. 15-8, руч. б/н, лев. приток, илих сер., магнетит, гранат, зол. не обн.* Посмотрел на строчку. Подумал, что за двадцать три года написал «зол. не обн.» примерно четыре тысячи раз, и что это, наверное, и есть его профессия.

Потом он убрал пикетажку и полез вверх, к террасе, где стоял Гурьяныч и где на камне сидел Ромка.

Ромка был студент, третий курс, практикант. Он приехал в июне уверенный, что геология — это про камни, и к концу сентября понял, что геология — это про то, чтобы носить рюкзак вверх, а потом вниз, а внутри рюкзака камни. Сейчас он сидел, привалившись к своему рюкзаку, и смотрел вбок с тем выражением, которое у молодых бывает на восьмом часу маршрута.

— Живой? — спросил Егор.

— Угу.

— Ноги как?

— Есть.

— Хорошо, что есть.

Он сел рядом, вытащил «Приму», размял, прикурил от третьей спички — ветер тянул по долине снизу, ровно и настойчиво.

Отсюда было видно далеко. Долина уходила на север, широкая, с плоским днищем, а по обе стороны поднимались борта, и на бортах, на самом верху, стояли лиственницы редко, поодиночке, как поставленные. Над ними шёл голый склон, рыжий от прошлогодней травы, и ещё выше начина-

лось небо, которое здесь всегда какое-то слишком большое.

А внизу, на второй террасе, метрах в четырёхстах, лежали курганы.

Их было пять. Оплывшие каменные блины, серые, поросшие по краям, каждый метров двадцати в поперечнике, и в середине у каждого — воронка, потому что все они были ко-
паны.

— Дядь Егор, — сказал Ромка. — А это чьё?

— Это Пазырык.

— Ну да, я понял, что Пазырык. Урочище. А курганы чьи?

Егор затянулся.

— Скифские, условно. Пазырыкская культура, пятый-третий век до нашей эры. Тут Руденко копал в сорок седьмом — сорок девятом, а первый ещё Грязнов, в двадцать девятом. Оттуда ковёр.

— Какой ковёр?

— Ворсовый. Самый старый на земле. Лежит в Эрмитаже.

Ромка поднял голову.

— Ковёр? Две с половиной тысячи лет?

— Мерзлота, — сказал Егор. — Курган каменный, тепло сквозь него не идёт, вода натекла и встала линзой. Внутри минус. Всё, что положили, — лежит. Ковры, повозка, кони с масками, люди с татуировками. Всё лежит как положили.

Он сказал это ровно, как говорят вещь, которую знают давно и не считают чудом, и только договорив, услышал, как это звучит.

Ромка молчал.

— Вон в той, второй слева, — сказал Егор, показав сигаретой, — лежал мужик. Здоровый. С татуировкой на плече — олень, и рога у оленя кончаются птичьими головами. Я в книжке видел.

— И где он теперь?

— В Эрмитаже.

Ромка ещё помолчал.

— Как-то... — начал он и не закончил.

— Ну да, — сказал Егор.

Гурьяныч, стоявший чуть выше, сплюнул в траву.

— Копать людей — последнее дело, — сказал он. — Хотя через две тыщи лет, хоть через две недели. Легли — пусть лежат.

— Тогда мы про них ничего не узнаем.

— А надо?

На это Егор отвечать не стал. У Гурьяныча на всё был один аргумент, и он был неубиваемый, потому что состоял не из логики.

Он докурил, вдавил окурок в камень, разломил, ссыпал табак и сунул фильтр в карман — привычка тридцатилетней давности, сильнее его.

Камень был хороший, плоский, с косой жилой кальцита через верхний угол. По северной грани сидели жёлто-зелёные блюдца лишайника, крупные, сантиметра по три. Егор посмотрел на них и машинально прикинул: лет двести, мо-

жет двести пятьдесят. Он прикидывал так всю жизнь, без малейшей нужды, как другие считают ступеньки.

Было около шести. Идти до лагеря час двадцать, по осыпи вниз, потом вдоль ручья. Успевали засветло.

— Собираемся, — сказал он.

Ромка со стоном поднялся.

И тут пришёл звук.

Егор потом много раз пытался вспомнить, что это было, и не мог подобрать. Не грохот. Скорее — как если бы очень большой человек уронил что-то очень тяжёлое очень далеко, в соседней комнате, и комната эта была размером с область. Низкий, на пределе слуха, идущий не из воздуха, а из-под ног.

Гурьяныч перестал сплёвывать и выпрямился.

— Что это, — сказал Ромка. Не вопросительно.

Егор уже понимал, что это. Понимал головой, из курса, из чужих рассказов, из отчётов, которые читал. Но телом он этого никогда не знал, и тело сейчас узнавало заново.

Земля тронулась.

Не качнулась — тронулась, как трогается вагон. Мягко, почти вежливо. Егор сделал шаг, чтобы устоять, и шаг не получился, потому что то место, куда он ставил ногу, за время шага уехало.

Потом началось всерьёз.

Дальше было плохо с последовательностью. Он помнил, что упал на четвереньки и что четвереньки не помогли —

трясло так, что ладони отрывало от камня. Помнил гул, который теперь шёл отовсюду сразу, и в этом гуле — отдельный, высокий, режущий звук: где-то на противоположном борту пошёл склон, и там сыпались тысячи тонн, и это было слышно как шипение. Помнил, что Ромка кричал. Помнил, что сам он кричал что-то Ромке, и не помнил что.

Лиственницы наверху ходили. Не гнулись от ветра, а ходили целиком, вместе с землёй, в которой стояли, и это было самое неправильное из всего.

Потом ослабло. Потом опять поддало, коротко и злобно. Потом кончилось.

Пыль стояла столбом на том борту, где ушёл склон, и медленно оседала, розовая от низкого солнца.

Стало очень тихо. Не было птиц. Егор сообразил, что птиц не было и до толчка — минут за десять, за пятнадцать, — просто он не заметил.

— Все целы? — сказал он. Голос вышел чужой.

— Целы, — сказал Гурьяныч откуда-то сбоку.

Ромка сидел на земле, обняв колени, и мелко дышал.

Егор посмотрел на часы. Восемнадцать тридцать три. Он зачем-то записал это в пикетажку, тут же, на четвереньках, кривым карандашом, и потом эти четыре цифры оказались единственным, что у него осталось от того дня.

— Балла шесть, — сказал Гурьяныч. — Не меньше.

— Больше, — сказал Егор. — Здесь шесть. А где-то там — гораздо больше.

Он поднялся и стал смотреть на юг, где над Курайским хребтом ещё висела муть, и думал про Кош-Агач, про Бельтир, про то, что в Бельтире дома саманные, и про то, что рации у них до лагеря добьёт, а до Улагана вряд ли.

Потом он посмотрел вниз, на террасу с курганами.

Свежий обрыв был метрах в ста от них, левее по борту. Осыпь сошла и обнажила стенку — чистую, светлую, влажную, ещё дымящуюся пылью. Известняк. Он это видел отсюда по цвету.

И в известняке, посередине обнажения, темнела дыра.

Егор смотрел на неё, наверное, секунд десять.

Потом он сказал:

— Я гляну и вернусь.

Гурьяныч, не оборачиваясь, ответил:

— Дмитрич. Не дури. Сейчас догонит.

Афтершок — это Гурьяныч имел в виду. И он был прав, и Егор это знал, и знал даже, что скажет себе завтра.

Но обнажение было свежее.

За двадцать три года он видел, может быть, три таких. Гора вскрывается сама, показывает разрез, которого никто никогда не видел и больше не увидит, потому что через месяц его затянет осыпью, а через год зарастёт. Ходить смотреть свежие разрезы — это было в нём глубже, чем осторожность, глубже, чем страх, примерно на той же глубине, где лежало умение дышать.

— Пять минут, — сказал он и пошёл.

Он спускался наискось, по живой ещё осыпи, ставя ногу боком, и мелочь ехала из-под него вниз, шурша. Метров через сорок он оглянулся. Гурьяныч стоял, заложив руки за спину, и смотрел ему вслед. Ромка сидел.

Он помахал. Никто не помахал в ответ.

Стенка вблизи оказалась выше, чем он думал, — метров восемь. Известняк был плотный, светло-серый, со свежими сколами, острыми, как стекло. Он тронул скол молотком, поймал звук, капнул кислотой из пузырька и посмотрел, как вскипает — быстро, весело, правильно.

Полость открывалась на высоте примерно полутора метров. Не пещера, скорее щель, вытянутая по трещиноватости, в плечо шириной. Изнутри тянуло — ровно, холодно, чуть влажно, и запах был тот особенный, никакой, — запах, которого нет на поверхности нигде.

Он поставил ногу на выступ, подтянулся, осветил фонариком.

Щель уходила вглубь и вниз. Метра через три поворачивала. Стенки были натёчные, гладкие, кое-где с бело-жёлтыми наплывами.

Он полез.

Не потому, что решил лезть. Он просто уже лез — тело сделало это раньше, чем голова успела назначить цену.

Внутри было тесно. Он двигался боком, выставив плечо, толкаясь ногами, и рюкзак тащил за лямку в руке, потому что с рюкзаком за спиной он тут не проходил. Фонарик держал

в зубах. Свет прыгал.

За поворотом стало шире. Он смог встать. Пол уходил вниз довольно круто, и там, куда падал луч, что-то поблёскивало влагой.

Егор сделал два шага вниз, чтобы осветить туда.

И тогда пришёл второй толчок.

Он был короче первого и, наверное, слабее. Наверху, на террасе, Гурьяныч потом просто присел на корточки и переждал.

Здесь, внутри, звук был такой, что Егор его не услышал — он им стал.

Пол ушёл.

Он падал недолго, но успел удивиться, что падает, — а потом ударился плечом и виском о что-то мокрое и твёрдое, и фонарик выбило изо рта, и фонарик потух, и стало полностью, идеально темно.

*

Он приходил в себя несколько раз.

В первый раз — почти сразу, и от боли: правая сторона головы горела. Он полежал, пощупал, нашёл рассечение над ухом, липкое и тёплое. Пошевелил руками, ногами. Всё двигалось. Он подумал, что это удача, и потерял сознание опять.

Во второй раз он нашёл фонарик — рукой, наощупь, в шаге от себя, в воде. Фонарик не работал.

В третий раз он вспомнил про спички.

Спички были в гильзе, в нагрудном кармане, и гильза бы-

ла сухая. Он зажѣг одну и в те четыре секунды, что она горела, увидел: он лежит на дне наклонной трубы, ход вверх засыпан, но не наглухо — есть просвет, и оттуда сочится сыпучая мелочь; вокруг мокрый камень; воды на дне по щиколотку; и она куда-то течѣт.

Спичка погасла.

Егор посидел в темноте и стал считать до ста.

Кричать было нельзя. Крик под землёй не даёт ничего, кроме сорванного горла, а горло ему ещё понадобится наверху. Он знал это так же твёрдо, как знал, что известняк вскипает от кислоты, и это знание было сейчас единственным, за что можно было держаться.

Он досчитал до ста. Потом ещё раз. На третий отпустило.

Потом он сказал вслух, негромко:

— Ну, хорошо.

И полез вверх, к просвету.

*

Сколько это заняло, он не знал. Часы разбились. Он копал руками и молотком, отгребал под себя, дважды его засыпало до пояса, один раз выше, и оба раза он выкапывался, потому что делать больше было нечего.

Он пил. Воды было сколько угодно, она текла по стенке, и он лизал стенку.

Он думал о Гурьяныче — что тот, конечно, никуда не уйдѣт, будет сидеть у стенки и орать в дыру, и что орать он будет до темноты, а потом пойдѣт в лагерь за верѣвкой и людьми.

Он думал о Ксении. Что ей позвонят из конторы, и что телефон она возьмёт не сразу, потому что у неё вечно беззвучный.

Он думал, что бросил лоток. Дюралевый, тридцать восьмого года, Гурьянычев, тот его берёт двадцать лет и дал ему на сезон со словами «утопишь — домой пешком».

Мысль о лотке почему-то оказалась самой невыносимой, и он вернулся вниз, в темноте, наощупь, и нашёл его, и потом лез с ним обратно.

Потом стало сереть.

Он не поверил. Он полз ещё долго и всё ждал, что серое окажется пятном в глазах. Но оно росло, делалось отчётливее, приобретало края, и наконец он увидел свою руку — не почувствовал, а увидел, — и понял, что это свет.

Он вылез из-под камня как из-под одеяла, головой вперёд, и лёг на осыпь лицом вниз, и лежал.

Пахло травой. Мокрой, холодной, осенней травой и хвоей.

Он полежал ещё, чтобы всё перестало ходить, и потом сел.

Было утро — раннее, серое, до солнца. Долина лежала внизу, широкая, с плоским днищем, знакомая. По ней тянулся туман полосами.

Он был грязный до непроходимости, левый рукав энцефалитки оторван по шву, над ухом запеклось, и он весь трясся, но крупно и ровно, от холода, а не изнутри.

Он посмотрел вверх, на террасу.

Гурьяныча не было.

Ромки не было.

Он поднялся, покачнулся, устоял и пошёл наверх — медленно, потому что колени после ночи в камне не работали. Он поднялся на террасу и встал на том самом месте, где вчера курил.

Место было то. Камень он узнал сразу — по излому, по косой жиле кальцита через верхний угол, по тому, как он сидит в дёрне.

Ямки от его каблука рядом не было. Он искал глазами и окурка — фильтр он унёс, а табак ссыпал вот сюда, под ноги. Табака тоже не было.

И лишайник был не тот.

Вчерашних жёлто-зелёных блюдец на северной грани не было вовсе. Лишайник сидел на восточной, был мелкий, серый, и рисунок его не имел с прежним ничего общего.

Егор опустился на корточки и смотрел на камень очень долго.

Лишайник живёт век или два, потом умирает, и на его месте с нуля садится другой, и так по кругу, и круг этот идёт медленно и без пропусков. Чтобы на одном камне сменился весь рисунок, нужно не пять лет и не пятьдесят.

Камень был тот. Всё, что на нём выросло, было другое.

Он повернулся к северу, туда, где должна была идти дорога.

Дороги не было.

Он посмотрел внимательнее, думая, что ошибся бортом,

что дорога чуть выше или чуть ниже, что вчера он смотрел с другой точки. Но борт был тот же, ручей тот же, впадал там же. Дороги не было. Не завалило — не было. Не было и колеи, которая идёт от дороги к их стоянке, а колея эта нарезалась восемь сезонов подряд и была видна с километра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.